

3

В окопной жизни важны пять вещей: дрова, еда, табак, свечи и враг. Зимой на Сарагосском фронте они сохраняли свое значение именно в этой очередности, с врагом на самом последнем месте. Враг, если не считаться с возможностью ночной атаки, никого не занимал. Противник – это далекие черные букашки, изредка прыгавшие взад и вперед. По-настоящему обе армии заботились лишь о том, как бы согреться.

Попутно замечу, что за все время моего пребывания в Испании я видел очень мало боев. Я находился на Арагонском фронте с января по май, но между январем и концом марта на фронтах, если не считать Теруэльского, ничего, или почти ничего, не происходило. В марте шли тяжелые бои за Хуэску, но лично я принимал в них очень небольшое участие. Позднее в июне, была эта злосчастная атака на Хуэску, в ходе которой несколько тысяч человек было убито в один день, я же был ранен еще до этого. Все то, что принято называть ужасами войны почти не коснулось меня. Самолеты не сбрасывали бомб поблизости, снаряды, сколько я помню, никогда не разрывались ближе чем в пятидесяти метрах от меня. Лишь однажды я участвовал в рукопашной схватке. (Замечу, что один раз – это на один раз больше, чем нужно). Я, конечно, часто попадал под пулеметный огонь, но обычно огонь велся с далекого расстояния. Даже под Хуэской было сравнительно безопасно, при условии, что вы принимали разумные меры предосторожности.

Здесь, среди холмов, окружающих Сарагосу, нас донимали только скука и неудобства позиционной войны, – жизнь, как у городского клерка лишенная существенных событий и почти такая же размеренная: караул, патруль, рытье окопов; рытье окопов, патруль, караул. На вершинах холмов, фашисты или республиканцы, горстки оборванных, грязных людей, дрожащих вокруг своих флагов и старающихся согреться. А дни и ночи напролет – случайные пули, летящие через пустые долины и лишь по какому-то невероятному стечению обстоятельств попадающие в человеческое тело.

Часто, глядя на холодный, зимний пейзаж я думал о тщете всего происходящего. Войны наподобие этой всегда заканчиваются ничем. Раньше, в октябре, за эти холмы велись отчаянные бои; а потом, когда из-за нехватки солдат, оружия и, в первую очередь, артиллерии, крупные операции стали невозможными, обе армии окопались и закрепились на вершинах тех холмов, которые им удалось захватить. Вправо от вас держал позицию небольшой отряд P.O.U.M., а левее на отроге находилась позиция P.S.U.C., перед которой высилась гора, усыпанная точками фашистских постов. Так называемая линия фронта шла такими зигзагами взад и вперед, что никто не смог бы разобраться в положении, если бы над каждой позицией не реял флаг. P.O.U.M. и P.S.U.C. вывешивали красный флаг, анархисты – красно-черный, либо республиканский – красно-желто-пурпурный. Вид был изумительный, следовало только забыть, что вершину каждой горы занимали солдаты, а кругом все было загажено консервными банками и человеческим калом. Вправо от нас сьерра поворачивала на юго-запад, освобождая место широкой, с прожилками потоков, равнине, тянущейся до

самой Хуэски. Посреди равнины было разбросано несколько маленьких кубиков, напоминавших игральные кости; это был город Робрес, находившийся в руках фашистов. Часто по утрам долина тонула в море облаков, над которыми высились плоские голубые холмы, делавшие пейзаж похожим на фотонегатив. За Хуэской виднелось много таких холмов, покрытых меняющимся каждый день снежным узором. Далеко-далеко плыли в пустоте исполинские вершины Пиренеев, на которых никогда не тает снег. Но и внизу в долине все выглядело мертвым и голым. Видневшиеся напротив холмы были серы и сморщены, как кожа слона. В пустом небе почти никогда не появлялись птицы. Никогда еще, пожалуй, я не видел страны, в которой было бы так мало птиц. Нам случалось иногда замечать птиц, похожих на сороку, стаи куропаток, внезапно вспархивающих ночью и пугавших часовых, и, очень редко, медленно круживших в небе орлов, презрительно не замечавших винтовочной пальбы, которую открывали по ним солдаты.

По ночам и в туманные дни в долину, лежащую между нами и фашистами, уходили патрули. Наряды эти никто не любил – слишком холодно, да и заблудиться недолго. Вскоре я выяснил, что могу идти в патруль всякий раз, когда мне вздумается. В огромных ущельях не было ни дорог, ни тропинок; нужно было каждый раз запоминать приметы, чтобы найти дорогу обратно. По прямой линии фашистские окопы находились от нас в семистах метрах, но чтобы добраться до них нужно было пройти больше двух километров. Мне доставляло удовольствие блуждать в темных долинах под свист случайных пуль, с птичьим тирликаньем пролетавших высоко над головой. Еще лучше были вылазки в туманные дни. Туман часто держался весь день; обычно он покрывал только вершины, а в долинах было светло. Приближаясь к фашистским позициям, следовало ползти медленно, как улитка; было очень трудно передвигаться бесшумно по склонам холмов, не ломая кустов и не роняя камней. Лишь на третий или четвертый раз мне удалось подобраться к фашистской позиции. Лежал очень густой туман, я подполз вплотную к колючей проволоке и начал прислушиваться. Фашисты разговаривали и пели. Но потом я вдруг со страхом услышал, что несколько из них спускаются по холму в моем направлении. Я спрятался за куст, который вдруг показался мне очень маленьким, и попытался бесшумно взвести курок. Но фашисты свернули в сторону, не дойдя до меня. За прикрывшим меня кустом я обнаружил различные следы прежних боев – горку пустых гильз, кожаную фуражку с дыркой от пули, красный флаг, несомненно принадлежавший нашим. Я забрал флаг с собой, на позицию, где его без всяких сантиментов порвали на тряпки.

Как только мы прибыли на фронт, меня произвели в капралы, или сабо, как говорили испанцы. Под моей командой было двенадцать человек. Должность не была синекурой, особенно на первых порах. Центурия представляла собой необученную толпу, состоявшую главным образом из мальчишек 15–18 лет. Случалось, что в отрядах ополчения попадались дети 11–12 лет, обычно беженцы с территории занятой фашистами. Запись в ополчение была наиболее простым способом их прокормить. Как правило, детей использовали на легких работах в тылу, но случалось, что они попадали и на фронт, где превращались в угрозу для собственных войск. Я помню, как такой маленький звереныш кинул в свой же окоп гранату, «для смеху». В Монте Почеро, сколько мне помнится, не было никого моложе пятнадцати лет, хотя средний возраст бойцов был значительно ниже двадцати. Пользы от ребят этого возраста на фронте нет никакой, ибо они не могут обходиться без сна, что в окопной войне совершенно неизбежно. Сначала никак нельзя было наладить ночную

караульную службу. Несчастных ребятишек из моего отделения можно было разбудить только вытащив за ноги из окопа. Но стоило лишь повернуться к ним спиной, как они бросали пост и ныряли в свой окопчик, или же, несмотря на дикий холод, мгновенно засыпали, стоя, опершись на бруствер. К счастью, враг был на редкость малопредприимчив. Бывали ночи, когда мне казалось, что двадцать бойскаутов с духовыми ружьями или двадцать девчонок со скалками легко могут захватить нашу позицию.

В этот период и еще долгое время спустя каталонское ополчение было организовано так же, как и в самом начале войны. В первые дни франкистского мятежа все профсоюзы и партии создали собственные отряды ополченцев; каждый из них был по сути дела политической организацией, подчиненной своей партии не в меньшей мере, чем центральному правительству. Когда в начале 1937 года была создана Народная армия, представлявшая собой «неполитическую» «формацию более или менее обычного типа, в нее, – так гласила теория, – влились отряды ополчения всех партий. Но долгое время все изменения оставались только на бумаге. Соединения новой Народной армии прибыли на Арагонский фронт по существу лишь в июне, а до этого времени система народного ополчения оставалась без изменений. Суть этой системы состояла в социальном равенстве офицеров и солдат. Все – от генерала до рядового – получали одинаковое жалованье, ели ту же пищу, носили одинаковую одежду. Полное равенство было основой всех взаимоотношений. Вы могли свободно похлопать по плечу генерала, командира дивизии, попросить у него сигарету, и никто не считал бы это странным. Во всяком случае, в теории каждый отряд ополчения представлял собой демократию, а не иерархическую систему подчинения низших органов высшим. Существовала как бы договоренность, что приказы следует исполнять, но, отдавая приказ, вы отдавали его как товарищ товарищу, а не как начальник подчиненному. Имелись офицеры и младшие командиры, но не было воинских званий в обычном смысле слова, не было чинов, погон, щелканья каблуками, козыряния. В лице ополчения стремились создать нечто вроде временно действующей модели бесклассового общества. Конечно, идеального равенства не было, но ничего подобного я раньше не видел и не предполагал, что такое приближение к равенству вообще мыслимо в условиях войны.

Признаюсь, однако, что впервые увидев положение на фронте, я ужаснулся. Как может такая армия выиграть войну? В это время все задавали этот вопрос, но, будучи справедливым, он был все же неуместен. В данных обстоятельствах ополчение не могло быть намного лучше. Современная механизированная армия не рождается на пустом месте, и если бы правительство решило ждать, пока не будет создана регулярная армия, Франко шел бы вперед, не встречая сопротивления. Позднее стало модным ругать ополчение, и приписывать все его недостатки не отсутствию оружия и необученности, а системе равенства. В действительности же, всякий новый набор ополченцев представлял собой недисциплинированную толпу не потому, что офицеры называли солдат «товарищами», а потому, что всякая группа новобранцев – это всегда недисциплинированная толпа. Демократическая «революционная» дисциплина на практике гораздо прочнее, чем можно ожидать. В рабочей армии дисциплина – теоретически – добровольна, ибо основана на классовой преданности, в то время, как в буржуазной армии, дисциплина держится в конечном итоге на страхе. (Народная армия, заменившая ополчение, занимала промежуточное место между этими двумя типами вооруженных сил). В ополчении никогда бы не смирились с издевательствами и скверным обращением, характерным для обычной

армии. Обычные военные наказания существовали, но их применяли только в случае серьезных нарушений. Если боец отказывался выполнить приказ, то его наказывали не сразу, взывая прежде к его чувству товарищества. Циники, не имевшие опыта обращения с бойцами, поторопятся заверить, что из этого «ничего не получится», на самом же деле «получалось». Шли дни, и дисциплина даже наиболее буйных отрядов ополчения заметно крепла. В январе я чуть не поседел, стараясь сделать солдат из дюжины новобранцев. В мае я короткое время замещал лейтенанта и командовал 30 бойцами, англичанами и испанцами. Мы уже несколько месяцев находились под огнем, и у меня не было никаких трудностей добиться выполнения приказов или найти добровольца для опасного задания. В основе «революционной «дисциплины лежит политическая сознательность – понимание, почему данный приказ должен быть выполнен; необходимо время, чтобы воспитать эту сознательность, но ведь нужно время и для того, чтобы муштрой на казарменном дворе сделать из человека автомат. Журналисты, которые посмеивались над ополченцами, редко вспоминали о том, что именно они держали фронт, пока в тылу готовилась Народная армия. И только благодаря «революционной «дисциплине отряды ополчения оставались на фронте; примерно до июня 1937 года их удерживало в окопах только классовое сознание. Одиночных дезертиров можно расстрелять – такие случаи были, – но если бы тысячи ополченцев решили одновременно покинуть фронт, никакая сила не смогла бы их удержать. В подобных условиях регулярная армия, не имея в тылу частей заграждения, безусловно разбежалась бы. А ополчение держало фронт (хотя, сказать правду, на его счету было немного побед и к тому же, оно почти не знало дезертирства. В течение четырех или пяти месяцев, которые я провел в Р.О.У.М., я слышал лишь о четырех случаях дезертирства, причем двое из дезертиров были, несомненно, шпионами. В первое время меня ужасал и бесил хаос, полная необученность, необходимость минут пять уговаривать бойца выполнить приказ. Я жил представлениями об английской армии, а испанское ополчение, право, ничем не походило на английскую армию. Но учитывая все обстоятельства, нужно признать, что ополчение воевало лучше, чем можно было ожидать.

А пока дрова, дрова и снова – дрова. В дневнике, который я вел в эти месяцы, нет, пожалуй, ни одной записи, в которой не говорилось бы о дровах, вернее – об отсутствии таковых. Мы находились на высоте 700—1000 метров над уровнем моря, была середина зимы, и стоял невообразимый холод. Правда, температура не опускалась очень низко и часто по ночам не доходила даже до нуля, к тому же в полдень, примерно на час, показывалось зимнее солнце; но если в действительности и не было так холодно, нам этот холод казался очень сильным. Иногда со свистом налетал порыв ветра, срывавший шапки и лохмативший волосы, иногда окопы заливал туман, пронизывавший до костей, часто шли дожди; достаточно было пятнадцатиминутного дождя, чтобы превратить нашу жизнь в муку. Тонкий слой земли, покрывавший известняк, превращался в слизистую жижу, по которой неудержимо скользили ноги, тем более, что ходить приходилось по склонам холма. Темной ночью я, случалось, падал пять-шесть раз на протяжении двадцати метров, а это было опасно, ибо затвор заедало из-за набившейся в него грязи. На протяжении многих дней грязь покрывала одежду, башмаки, одеяла, винтовки. Я захватил с собой столько теплой одежды, сколько мог унести, но многие из бойцов были одеты из рук вон плохо. На весь гарнизон, насчитывавший около ста человек, имелось всего двенадцать шинелей, которые выдавались только часовым. У большинства бойцов было только по одному одеялу. Как-то ледяной ночью я занес в дневник список надетых на меня вещей. Он любопытен, поскольку

показывает, какое количество одежды способен натянуть на себя человек. На мне были: толстая нательная рубашка и кальсоны, фланелевая рубаха, два свитера, шерстяной пиджак, кожаная куртка, вельветовые бриджи, обмотки, толстые носки, ботинки, тяжелый плащ-дождевик, шарф, кожаные перчатки с подбивкой и шерстяная шапка. И тем не менее, я трясся как осиновый лист. Правда, следует признаться, что я необычайно чувствителен к холоду.

Единственное, что имело для нас значение – это были дрова. Вся штука заключалась, однако, в том, что дров-то на деле не было. Наша гора не могла похвастаться своей растительностью и в лучшие времена; теперь же, после того как многие месяцы здесь стояли мерзнувшие ополченцы, на ней нельзя было найти даже прутика толщиной в палец. Все время, свободное от еды, сна и караулов, мы проводили в долине за позицией в поисках топлива. Думая об этом времени, я вспоминаю прежде всего о том, как карабкался по почти отвесным откосам острых известняковых скал, разбивая ботинки, в попытке добраться до какого-нибудь чахлого кустика. Трем солдатам в течение нескольких часов удалось собрать такое количество хвороста, которого хватало на час горения. Отчаянная погоня за топливом превратила нас в ботаников. Каждая былинка, росшая на склонах горы, классифицировалась в зависимости от ее «горючих» свойств; различные виды вереска и трав годились для растопки, но сгорали в течение нескольких минут, дикий розмарин и тонкие кусты дрока шли в огонь лишь тогда, когда костер уже успевал разгореться, карликовый дуб (деревце, чуть ниже куста крыжовника) почти не поддавался огню. На самой вершине, влево от нашей позиции, рос сухой, великолепно горевший тростник. Но собирать его нужно было под вражеским обстрелом. Завидев нас, фашистские пулеметчики открывали ураганный огонь, выпуская сразу целую ленту. Обычно они брали слишком высокий прицел, и пули, как птицы, пели над головами, но иногда они откалывали известняк в неприятной близости и тогда нужно было упасть и прижаться к земле. Но мы продолжали собирать тростник. Ничто не было так важно, как топливо.

По сравнению с холодом, все другие неудобства казались нам ничтожными. Мы, разумеется, ходили постоянно грязными. Воду, как и пищу, нам привозили на вьючных мулах из Алькубьерре и на одного человека приходилось чуть больше литра в день. Вода была отвратительная, не прозрачнее молока. Официально нам выдавали воду только для питья, но мне всегда удавалось украсть вдобавок полную жестяную кружку, чтобы умыться. Обычно, я один день мылся, а брился на следующий. Чтобы проделать обе эти операции в одно и то же время не хватало воды. Позиция немилосердно воняла, за нашей небольшой баррикадой всюду валялись кучи кала. Некоторые из ополченцев испражнялись в окопе, вещь омерзительная, особенно когда ходишь в темноте. Но грязь меня никогда не беспокоила. О грязи слишком много говорят. С удивительной быстротой привыкаешь обходиться без носового платка и есть из той же миски, из которой умываешься. Через день-два перестает мешать то, что спишь в одежде. Ночью нельзя было, конечно, ни раздеться, ни снять башмаков; следовало постоянно быть готовым к отражению атаки. За восемьдесят дней я снимал мою одежду три раза, правда, несколько раз мне удавалось раздеваться днем. Вшей у нас не было из-за холода, но крысы и мыши расплодились в большом количестве. Часто говорят, что крысы и мыши вместе не живут. Оказывается, они вполне уживаются – когда есть достаточно пищи.

В других отношениях нам было неплохо. Еда была вполне приличная, вина отпускали вдоволь. Нам выдавали пачку сигарет в день и коробку спичек на два дня, а кроме того мы получали даже свечи. Это были очень тоненькие свечки, похожие на те, которыми украшают рождественские куличики. Все единодушно считали, что их украли из церкви. Каждый окоп получал по три семисантиметровых свечи в день, каждой из которых хватало примерно на двадцать минут горения. В то время свечи еще были в продаже, и я захватил с собой несколько фунтов. Позднее, нехватка свечей и спичек ощущалась мучительнейшим образом. Значение этих вещей начинаешь понимать лишь тогда, когда их лишаешься. Во время ночной тревоги, например, когда каждый хватается за свою винтовку, топча всех по пути, возможность зажечь свечу может спасти жизнь. У каждого ополченца имелись кремь с огнивом и с полметра желтого фитиля. Это было его самое драгоценное имущество, если не считать винтовки. Кремь с огнивом имели то огромное преимущество, что искру можно было высечь даже на ветру, зато она не годилась для разжигания костра. Когда спички окончательно исчезли, единственной возможностью разжечь костер стал порох, который мы высыпали из гильзы и поджигали искрой.

Мы жили необычной жизнью, тем более, что мы воевали, если это можно назвать войной. Ополченцы жаловались на бездействие, шумно добивались объяснения, почему нас не поднимают в атаку. Но было совершенно очевидно, что если враг не начнет первым, то ждать боя придется еще очень долго. Во время своих периодических инспекций Жорж Копп говорил с нами совершенно откровенно. «Это не война, – заявлял он обычно, – а комическая опера со случающейся время от времени смертью». Впрочем застой на Арагонском фронте имел свои политические причины, о которых я в то время не имел понятия; но чисто военные трудности, не говоря уже об отсутствии людских резервов, были для всех очевидны.

Эти трудности начинались прежде всего с характера местности. Фронт, и с нашей, и с фашистской стороны, прикрывали позиции, представлявшие собой исключительно сильные естественные препятствия, подойти к которым можно было, как правило, только с одной стороны. Достаточно было вырыть несколько окопов, чтобы сделать такую позицию неприступной для пехоты, разве что атакующая сторона имела бы громадный численный перевес. Дюжина бойцов с двумя пулеметами могла легко удержать нашу позицию, даже если ее штурмовал бы целый батальон противника. Так же обстояли дела и на большинстве соседних позиций. Сидя на макушке холмов, мы представляли собой заманчивую цель для артиллерии; но артиллерии у врага не было. Иногда, глядя на окружающий нас пейзаж, я мечтал, – страстно мечтал, – о нескольких батареях. Пушки раздолбили бы неприятельские позиции с такой же легкостью, с какой молоток раскалывает орех. Но у нас пушек не было совершенно. Фашисты изредка ухитрялись подтянуть одно-два орудия из Сарагосы и выпустить несколько снарядов, которые падали в пустые овраги, не причинив никакого вреда. Фашисты прекращали огонь, так и не успев пристреляться. Не имея артиллерии, под дулами пулеметов, можно было выбрать лишь один из трех путей: зарыться в землю на безопасном расстоянии, скажем четырехсот метров, наступать по открытой местности и дать себя расстрелять в упор, или же делать ночные вылазки, которые все равно не меняют общего положения. По существу, выбирать можно было между самоубийством и полной неподвижностью.

Вдобавок ко всему этому, полностью отсутствовали какие бы то ни было военные материалы. Необходимо некоторое усилие, чтобы представить, как скверно было снаряжены ополченцы тех дней. В военном кабинете каждой солидной английской школы было больше современного оружия, чем у нас. Мы были вооружены так плохо, что об этом стоит рассказать подробнее.

На этом участке фронта вся артиллерия состояла из четырех минометов, на каждый из которых приходилось всего пятнадцать мин. Само собой разумеется, что минометы были слишком драгоценны, чтобы из них стрелять, поэтому они хранились в Алькубьерре. Примерно на каждые пятьдесят человек приходился пулемет; это были пулеметы старых образцов, но из них можно было вести довольно прицельный огонь на расстоянии трехсот-четырехсот метров. Помимо этого, мы располагали только винтовками, причем место большинству из них было на свалке. Винтовки были трех образцов. Во-первых, длинный маузер. Как правило, эти винтовки служили уже не менее двадцати лет, от их прицельного устройства было столько же пользы, как от поломанного спидометра, у большинства нарезка безнадежно заржавела; впрочем, одной винтовкой из десяти можно было пользоваться. Затем имелся короткий маузер, или *mousqueton*, по существу кавалерийский карабин. Эта винтовка пользовалась популярностью из-за своей легкости и небольшого размера, удобного в окопных условиях. Кроме того мускетоны были сравнительно новы и имели приличный вид. В действительности же пользы от них не было почти никакой. Их собирали из старых частей, ни один из затворов не подходил к винтовке, три четверти из них заедало после первых пяти выстрелов. Наконец, было несколько винчестеров. Из них было удобно стрелять, но пули летели неизвестно куда, к тому же обойм не было и после каждого выстрела приходилось винтовку перезаряжать. Патронов было так мало, что каждому бойцу, прибывавшему на фронт, выдавалось всего по пятьдесят штук, в большинстве своем исключительно скверных. Все патроны испанского производства были набиты в уже однажды использованные гильзы и поэтому даже самую лучшую винтовку очень скоро заедало. Мексиканские патроны были сортом повыше и мы берегли их для пулеметов. По настоящему хорошей аммуниции – немецкой – у нас почти не было, ибо забирали мы ее у пленных или дезертиров. Я всегда держал в кармане обойму немецких или мексиканских патронов – на случай непредвиденных обстоятельств. Но когда такие обстоятельства наступали, я редко стрелял из своей винтовки, опасаясь, как бы эту проклятую штуку не заело, и боясь остаться без патронов.

У нас не было ни касок, ни штыков, почти не было пистолетов и револьверов, одна бомба приходилась на пятьдесят человек. Бомбой нам служила жуткая штука, известная под названием бомбы «F.A.I.»[12], ибо их изготовляли в первые дни войны анархисты. Она была сделана по принципу гранаты Миллса, но чеку придерживала не шпилька, а шнурок. Вы рвали шнурок и как можно быстрее старались избавиться от гранаты. У нас говорили, что это «беспристрастные» бомбы, они убивали и тех, в кого их бросали, и того, кто их бросал. Были и другие виды гранат, еще более примитивные, но пожалуй менее опасные, – для бросающего, разумеется. Лишь в конце марта я впервые увидел гранату достойную своего назначения.

Не хватало не только оружия, но и всего другого снаряжения, необходимого на войне. Мы не имели, например, ни карт, ни схем. Полной топографической карты Испании не

существовало вообще. Единственными подробными картами местности были старые военные карты, почти все оказавшиеся в руках фашистов. У нас не было ни дальномеров, ни перископов, ни полевых биноклей, если не считать нескольких личных, ни сигнальных ракет, ни саперных ножниц для резки колючей проволоки, ни инструмента для оружейников, нечем было даже чистить оружие. Испанцы, казалось, никогда не слышали о протирке и пришли в изумление, когда я изготовил нужный инструмент. Когда надо было прочистить винтовку, шли к сержанту, хранившему длинный, обычно изогнутый и царапавший нарезку медный шомпол. Не было даже ружейного масла. Винтовки смазывались оливковым маслом, если его удавалось достать; в разное время я смазывал свою винтовку вазелином, козьим кремом, и даже свиным салом. Не было, также, ни ламп, ни электрических фонариков. Я думаю, что в то время на всем нашем участке не было ни одного электрического фонаря, а ближе чем в Барселоне купить его было нельзя, да и там с трудом.

Шло время, и под звуки беспорядочной стрельбы, трещавшей среди холмов, я с нарастающим скептицизмом ждал событий, которые внесли бы немножко жизни, или вернее смерти, в эту дурацкую войну. Мы воевали с воспалением легких, а не с противником. Если расстояние между окопами превышает пятьсот метров, получить пулю можно только случайно. Сколько мне помнится, пятеро первых раненых, которых я увидел в Испании, были ранены собственным оружием. Я не хочу сказать, что это было сделано умышленно, – нет, они были ранены случайно или по небрежности. Серьезную опасность представляли наши изношенные винтовки. Некоторые из них имели скверную привычку стрелять, когда ударяли прикладом о землю; я видел бойца, прострелившего себе таким образом руку. В темноте свежие ополченцы всегда стреляли друг в друга. Как-то под вечер, еще до наступления сумерек, часовой пальнул в меня на расстоянии двадцати шагов, но промазал, – пуля прошла в одном метре. Сколько раз неумение испанцев стрелять метко спасло мне жизнь. В другой раз я отправился в разведку в тумане, заблаговременно предупредив об этом командира. Возвращаясь, я споткнулся о куст, испуганный часовой крикнул, что идут фашисты, и я имел удовольствие слышать, как командир приказывает открыть беглый огонь в моем направлении. Я, конечно, лег на землю и пули пролетали надо мной. Ничто не может убедить испанца, особенно молодого испанца, что огнестрельное оружие опасно. Помню, это было уже после описанных выше событий, я фотографировал пулеметную команду, сидевшую за пулеметом, нацеленным прямо на меня.

– Только не стреляйте, – полусмущенно сказал я, наводя на них фотоаппарат.

– Нет, мы и не собираемся стрелять.

И в ту же секунду затарахтел пулемет и струя пуль пролетела возле меня так близко, что крупинки пороха обожгли щеку. Пулеметчики выстрелили случайно, но сочли это великолепной шуткой. А всего несколько дней назад они стали свидетелями того, как политрук, балуясь автоматическим пистолетом, нечаянно застрелил погонщика мулов, всадив ему в легкие пять пуль.

Определенную опасность представляли собой и грудные пароли, бывшие в то время в ходу в армии. Нужно было помнить и пароль и отзыв. Обычно это были высокопарные

революционные лозунги, вроде: Cultura – progreso или Seremos – invencibles[13].

Неграмотные часовые часто не могли запомнить эти возвышенные слова. Однажды, паролем выбрали слово Cataluna, а отзывом – Eroica. Хаиме Доменак, крестьянский паренек с лунообразным лицом, пришел ко мне в полном недоумении и спросил, что означает слово Eroica.

Я объяснил, что Eroica, это то же самое, что valiente, героизм. Минуту спустя, когда он в темноте вылез из окопа, его остановил криком часовой:

– Alto! Cataluna! [14]

– Valiente! – гаркнул Хаиме, убежденный, что это и есть отзыв.

Бах!

Впрочем, часовой промахнулся. На этой войне, все делали все возможное, чтобы не попасть в кого-нибудь.

Версия #1

Зверобой создал 5 мая 2025 21:41:41

Зверобой обновил 5 мая 2025 21:41:59